Виктюк Роман Григорьевич

20.6.02

Роман Виктюк: декорация моей жизни

Два дня Виктюк показывал мне Львов. Свой Львов. Все, что требовалось от меня, – не мешать Роману Григорьевичу вопросами, ходить следом и слушать. Вот и вы послушайте.

АНДРЕЙ ВАНДЕНКО,
АНДЖЕЙ ПОЛЯКОВ (фото)

Командировка знаменитого режиссера Романа Виктюка и обозревателя «Собеседника» Андрея Ванденко в древний украинский город Львов

Библиотека памяти

— Едва ли что-нибудь нравилось мне в жизни больше, чем фасады и портики родного города. Из созерцания их, классических, эклектических, выполненных в самых невероятных стилях, я узнал об истории мира больше, чем из любой прочитанной книги. Помню, по дороге в школу смотрел на дома и погружался в невероятные фантазии: не успев побывать нигде, кроме Львова, я видел Италию, Грецию, Польшу... Потом, через много-много лет, я находил родные уголки в Риме, Афинах, Кракове, в чужих городах встречал Львов и возвращался в детство, становился ребенком. А ребенок — это прежде всего эстет. Он реагирует на видимость, внешность, очертания и формы. Львов стал для меня своеобразной декорацией, в которой бесконечно репетировался некий спектакль. Менялись актеры, костюмы, мизансцены, атмосфера на сцене была трагической, комической, лирической, но день премьеры так и не наступал. Спектакль не сыгран до сих пор. Спектакль, где, как подсказывает память, должно быть четыре действия. Естественно, воспоминания содержат только детали, а не целостную картину. Я не могу охватить каждый из этих актов, помню лишь эпизоды, а не весь спектакль. На мой взгляд, память человека похожа на библиотечные полки, на которых кто-то перепутал книги. Наверное, тут есть и полные собрания сочинений, но тома стоят в таком беспорядке, что сразу ничего не найдешь. Остается снимать со стеллажей отдельные книги и заглядывать под обложку в поисках имени автора...

Смерть Сталина

Я помню, как нас освободила Советская армия (Виктюк так и говорит: «совЬетская». — *А.В.*). На танках. На улицах появились жены русских офицеров. Они щеголяли в ночных сорочках, найденных в шкафах бежавших от Совьетов львовянок. Офицерши не подозревали, что гуляют в белье, а не в вечернем платье... Но меня поражало не это, не появление новых персонажей, а исчезновение старых. Из привычных львовских декораций вдруг пропали газовые фонари, которыми город гордился. Нет, фонари остались, но теперь их перестали зажигать. А прежде каждый вечер на центральную площадь Рынок, где я жил, важно ступал фонарщик и обходил все четыре фонаря, поднося к газовому рожку огонь на длинном-предлинном шесте. Мы, мальчишки, стояли рядом. Когда загорался последний фонарь, наступал вечер... Вслед за фонарями с городских улиц исчезли дрожки. Исчезли те, кто возил, и те, кого возили...

Пропали церковные процессии, казавшиеся неотъемлемой частью Львова. Город привык отмечать праздники всем миром. Теперь и этого не стало... Исчезла многоголосица языков, которая была нормой в любом львовском дворе. Вокруг меня жили поляки, евреи, немцы, украинцы. Мы прекрасно понимали друг друга. И вдруг все языки заслонила чужая, незнакомая до того речь, которую называли великим русским языком... Польский, немецкий, еврейский стали удаляться, превращаясь в эхо, а нашим воздухом становился русский.

Еще я сразу столкнулся с Лениным. Помню его фотографию в учебнике. В полувоенном френче он сидит на садовой скамье рядом со Сталиным. Потом оказалось, что по числу фото Сталина даже превосходят ленинские. Не знаю почему, но все печатное я сразу стал воспринимать как ложь. Страницы начавшей тогда выходить «Львовской правды» не могли прикрыть странность и убогость окружавшей жизни... Кстати, когда лет десять назад на проспекте Свободы сносили памятник Ленину, оказалось, что в основании монумента вождю пролетариата лежат могильные плиты, свезенные с трех львовских кладбищ — польского, украинского и еврейского. Коммунисты так спешили установить памятник, что даже имена с плит стирать не стали...

На протяжении десятилетий мы жили в окружении официального вранья. Спасало отсутствие лжи дома. Правда, позже я понял, что ключи к характеру человека не следует искать в детстве.

То, что было в первом акте, события, разворачивавшиеся в послевоенных декорациях, не повлияли на мои способности любить и страдать. Я научился не замечать фальшь, царившую вокруг, усвоил первый урок режиссуры — умение отключаться, сделал шаг по пути отчуждения. Как ни старались тогда в школе запачкать нас возвышенным идеологическим вздором, мы оставались чисты. На каждый советский праздник я брал в пионерском театре, где уже играл главные роли, коробку с гримом и бинт, заматывал руку и сверху мазал ее красной краской. Затем приходил в школу и говорил, что неудачно упал и сильно разбился, поэтому не смогу нести на демонстрации портрет великого вождя человечества. Физичка Ганна Федотивна (навсегда запомнил это имя!) тут же громко оповещала, что у Виктюка опять больные руки... В день смерти Сталина от счастья смеялась, по-моему, вся школа. Только физичка Ганна Федотивна плакала. Она рыдала и не могла понять, почему у нас, детей, не текут слезы из глаз. Когда надо было идти на траурный митинг к памятнику Иосифу Виссарионовичу, Ганна Федотивна закричала: «Бегите в туалет и намочите лица водой. Я не могу допустить, чтобы наша 44-я школа так не трагически воспринимала гибель вождя!» И мы действительно помчались в туалет. Надо было слышать, как мы хохотали, обливая друг друга! А потом шли по улице, стараясь придать облику трагический вид. Но совьетская вода быстро высыхала на наших щеках, а дорога предстояла длинная, и мы размазывали слюни, изображая скорбь. Наш смех не был кощунством, он спасал, защищал от ужасов бытия.

Пересылка и бандеровцы

...Мой путь в школу лежал мимо городской пересыльной тюрьмы, расположенной в самом центре, рядом с оперным театром. Очереди с передачами, о которых я потом читал у Ахматовой, стали моим каждодневным трагическим зрелищем. Слезы, боль, страдания висели в воздухе, я ощущал их физически. Это была атмосфера спектакля, разыгрывавшегося на наших глазах. Окна верхнего этажа школы выходили во двор пересылки, и мы видели прогулки людей, ожидавших отправки в Сибирь, слышали проклятия, крики и слова молитвы, долетавшие из-за стены. Там были людские толпы. Толпы — без счета, без судеб, без фамилий. На всех одно имя — бандеровец. Совьетские режиссеры, устроившие этот жуткий спектакль, не справлялись с массовкой, ее нужно было срочно изолировать, освободить место для новых арестантов. Среди узников пересылки находился и мой родной дядя, вуйко Васыль. Мама каждое утро в пять часов занимала очередь, чтобы хоть что-то передать брату... Вуйко Васыль 17 лет провел на лесоповале. Когда он вернулся из Сибири, я увидел его глаза. Светлее и добрее взгляда мне не доводилось встречать в жизни. Может, только папа римский еще так смотрел на меня, когда я был у него в Ватикане лет двенадцать тому назад... За что сидел вуйко Васыль? Разве тогда нужна была причина, чтобы получить срок?

Во время выпускного экзамена в десятом классе в нашу аудиторию вошли энкавэдисты и, ничего не говоря, взяли за руки троих моих одноклассников и вывели их в коридор. Они исчезли навсегда. Директор потом говорил, что ребята были явными пособниками бандеровцев...

Для многих спасением оставалась греко-католическая церковь, но и ее решили уничтожить в одночасье. Как это делалось, я видел сам. Однажды по дороге в школу я встретил уважаемого в городе священника Костельника, спешившего куда-то по делам. Вдруг святого отца догнала машина, и раздался выстрел. Костельник упал, но к нему никто не подбежал. Из-за угла появилась другая машина, она притормозила возле лежащего, из кузова выскочили какие-то люди, схватили тело — и автомобиль скрылся. Все! Мы постояли и... пошли в школу — слушать рассказы о совьетской власти. Историю СССР нам преподавала Ирина Петривна Луцык. Ей было, наверное, лет семьдесят, она прожила свой век во Львове, а теперь ей предстояло рассказать об Октябрьской революции. Ирина Петривна всегда говорила одну фразу: «Я буду рассказывать вам то, о чем не имею понятия». Затем брала учебник и... читала. И нам было позволено отвечать урок, глядя в книгу. В этот момент Ирина Петривна деликатно отводила взгляд, смотрела в окно на пересыльную тюрьму и слушала рассказ о победе социализма...

Помню, как из нашего дома забрали дворника. Наверное, он тоже был бандеровцем или их пособником? Дверь дворницкой осталась открытой, но никто не осмеливался туда зайти, только я вбежал в комнату и схватил валявшуюся на полу книжку Симонова «Дни и ночи». Спустя какое-то время в школе объявили сбор книг для детской библиотеки.

Не долго думая, я отнес томик, найденный у дворника. Библиотекарша испуганно оглянулась, задрожала и шепотом спросила: «Где ты это взял?» Я честно ответил. Она сказала: «Забудь! Ты этой книжки не видел. Ее написал враг народа». Оказывается, и Симонов угодил в списки запрещенных авторов. Откуда же я мог это знать?..

Первые пачки денег

При этом я был полон патриотизма, нормального детского патриотизма. Я обожал совьетские самолеты и фильмы. Первая картина, увиденная мною, называлась «Как закалялась сталь». Моей любимой книжкой была «Молодая гвардия». На всех городских и областных смотрах во дворце пионеров мне присуждали первое место.

Когда я читал монолог Олега Кошевого о матери, зал плакал. Помню, сидевший в президиуме заслуженный артист Украины Мыкола Ярецкий взял меня к себе на колени и громко сказал, обращаясь к собравшимся: «Это гений. Запомните его фамилию, он наш гений!» Это слово я услышал впервые и, придя, прибежал домой, крича: «Я гений! Гений!» Никакого успеха мой вопль не имел. Родные не поверили мне — ни тогда, ни потом. Через годы, впервые получив большой — по совьетским, конечно, меркам — гонорар, я разменял его на пятирублевые купюры, приехал во Львов и, как богач, почти миллионер, стал разбрасывать пачки по квартире. Ждал подтверждения, что все-таки я гений, родные должны были закричать об этом, но мама сказала: «Он все украл». В сознании родителей не укладывалось, что я смогу много зарабатывать на сцене. И это притом что я всегда был сыном театра. Какая-то иррациональная сила тянула меня за кулисы, я пропадал там сутками, ради сцены готов был на все. Когда учительница литературы взялась за постановку поэмы Алигер «Зоя Космодемьянская», я добился, чтобы она торжественно объявила школе: есть только один человек, достойный сыграть Зою. Это — пятиклассник Рома Виктюк. Школа-то у нас была мужская...

И я играл! Дома не понимали, что происходит. Ни о какой Зое и партизанах родители, конечно, не слышали, для них это был пустой звук. А я верил, что дух Зои вселился в меня! А какой бешеный успех был, когда в доме офицеров я читал отрывок из какой-то книжки (уже не вспомню название) о Лизе Чайкиной. Сколько раз меня вызывали на бис! И этого ни разу, повторяю, ни разу не видели родители. Ни моего Олега Кошевого, ни Зою, ни Лизу, ни стихов о красном галстуке. «Как повяжешь галстук, береги его...»

Родители и партбилет

...Я рисую в воображении лица родителей, пытаюсь услышать, как они зовут друг друга: Катруся, Грыць... Вижу маму и папу фрагментарно, но на всех картинках обязательно присутствует любовь. Мама всю жизнь занималась домом, детьми. Кроме меня, в семье росли еще две девочки — Богдана и Христина. Помню, что дверь нашей квартиры на площади Рынок никогда не закрывалась. Однажды у нас во дворе появилась еврейская семья. Это случилось уже после войны. У Маламутов было десять или двенадцать детей, и все они голодали, потому что взрослые не имели работы. Аба играл на барабане, но кому тогда нужны были музыканты? Дети приходили к нам и знали, что здесь их всегда чем-нибудь накормят. Сегодня Фрида, Моня, Яша и все остальные живут в Израиле. Я приезжаю туда, мы встречаемся, и у них на устах только одно имя: Катруся... Это правда.

Когда во Львов пришли русские солдаты, в нашей небольшой квартире размещалось до двадцати пяти красноармейцев. Они спали на полу. Все, что было в доме, делилось поровну. Помню, эти молодые ребята называли маму Катей, а папу Гришей, что меня страшно удивляло. Помню, как они приносили выпивку и начиналась тайная вечеря. В центре стола восседала мама. Она не пила, но занимала место, словно Христос. И все руки с гранеными стаканами тянулись к ней.

Солдатики что-то говорили на языке, который я тогда не понимал, но по тону чувствовал, что это слова любви. Уходя из нашего дома, красноармейцы обнимали маму, благодарили и словно случайно старались забыть котелки, ложки, скатки шинелей. Они шли на Западную Украину воевать, ждали выстрелов в спину, а здесь их встретило тепло...

От папы я никогда не слышал плохого слова о совьетской власти, Ленине или Сталине. Только — улыбка. Папа считал, что я должен сам во всем разобраться. При этом папа состоял в компартии и даже потом, когда Союз развалился, не стал сжигать членский билет. Он так и лежит в ящике письменного стола. До сих пор... Я никогда не спрашивал, зачем папа вступал в КПСС. Боже упаси! Значит, так нужно. Он ведь всю жизнь учил детей, преподавал украинскую литературу, и это было для него важнее партбилета.

Если бы я умел фотографировать и попытался восстановить эпизоды жизни с родителями, то наверняка обнаружил бы, что на моей пленке много светлых, словно испорченных кадров. Это вспышки зримой энергии, которую несет в себе любовь. Она всегда присутствовала в моей жизни...

Присягал 3б раз

Подлинная история нашего сознания начинается с первой лжи, поэтому так важно ее помнить. Порой ложь может спасти слово «почти». Почти солгал — и тем самым заострил контур правды. Я долго был соучастником большой лжи. Почти был. Почти лгал. Но не в жизни — на сцене. Когда меня призвали в армию и пришло время кричать клятву на верность родине, я так старался, что потряс командира полка своим талантом. Полковник сказал: отныне Виктюк всегда будет читать присягу для новобранцев. В итоге я тридцать шесть раз с автоматом в руках присягал совьетской отчизне! Делал это с невероятным патриотизмом, динамизмом и экспрессией. Командир меня обожал!

Но я не зря сказал про слово «почти». Когда во Львов впервые приехал Никита Хрущев с женой, мне поручили подготовить пионерское приветствие в честь дорогого гостя. В то время я уже руководил детским театром во дворце пионеров и отобрал для выступления человек тридцать. Список передал в обком партии на утверждение. На следующий день меня вызвали: «Издеваетесь, товарищ Виктюк? Где здесь украинцы?» Говорю: «Я украинец». Оказалось, в списке сплошные евреи — Фельдман, Гельфман, Фабрикант... От меня потребовали заменить детей, чтобы секретаря ЦК поздравляли истинные, щирые украинцы. Я отказался... В итоге пришлось выпускать на сцену жидовское семя. Правда, КГБ подсуетился и переделал фамилии ребят на украинский лад — Фельдмановская, Гельфманский, Фабрикантчук... Дети, хохоча, подбегали ко мне и рассказывали, какие неграмотные дяди составляли списки... Прошли годы, ребята выросли и поняли, каково мне было оставить их на сцене. Зато сегодня я приезжаю в Тель-Авив, Нью-Йорк или Торонто, и все эти Фельдмановские и Гельфманские приходят на мои спектакли, пробираются за кулисы, гроздьями повисают на мне и рыдают. Тогда я снова переношусь во Львов и остро ощущаю, чем лжа отличается от почти лжи...

Возвращение в город без любви

И все-таки я уехал из Львова. Бежал в Москву. Поступил в ГИТИС. Но корни были столь сильны, что я не мог не вернуться сюда. Начал работать в театре юного зрителя, играл, ставил, однако чувствовал: рано или поздно случится так, что мне покажут на дверь, и последним моим представлением во Львове будет спектакль под названием «Город без любви». Все так и произошло. Меня выгнали.

Партийная власть не разрешала мне работать даже в фойе кинотеатра с программой из произведений Тараса Шевченко и Леси Украинки. Мою фамилию старательно заклеивали в афишах. Мне ничего не оставалось, как вновь покинуть город. Теперь уже навсегда. Хотя... Недавно меня произвели в рыцари Львова. Этого звания за всю историю удостаивались лишь трое — композитор Колеса, великий Шептицкий и я. Думаю, если бы родители были живы, может, впервые они сказали бы: наш ребенок — гений. Но этому не суждено уже осуществиться...

Когда Украина стала самостийной и независимой, я начал чаще приезжать сюда. Чтобы не слушать обвинений в измене, сам себя назвал запроданцем. Это украинское слово. Тот, кто не боится так о себе говорить, не может быть предателем, запроданцем. Думаю, это понятно. Что бы я ни делал, где бы ни жил, я всегда оставался предан этой земле. Всегда! Когда однажды в Киеве местный интервьюер стал говорить, что я не имею права не работать на Украине, если считаю себя украинцем, я ответил ему безумно резко, сделав это, может, впервые в жизни. Я доказал собеседнику, что никакой он не украинец, а космополит, перекрасившийся комсомольский функционер, эксплуатирующий модную тему...

И я не был бы львовянином, если бы не верил, что в декорациях моего города все же состоится премьера. Вижу робкие намеки на это. Помню, как тысячи людей собирались у оперного театра и объединялись тем, что пели украинские песни, бывшие под запретом при совьетской власти. Когда греко-католицизм вернулся на нашу землю, счастью не было предела. Еще до возрождения унии я встречал на Арбате пожилых крестьянок с Западной Украины, которые специально ехали в Москву, чтобы объяснить русским людям, чем православие отличается от унии. Проходившим мимо не было дела ни до этих странных старух, ни до их проблем, но женщины терпеливо стояли и высоко держали свои плакаты, написанные на ломаном русском языке. Энергия неприятия и ненависти по отношению к этим простолюдинкам чувствовалась даже на расстоянии. Страна атеистов, так легко продавшая Бога, разве она могла понять странных хохлушек, что-то толкующих о своей религии? Я, убежденный униат, греко-католик, смотрел на этих женщин и видел, что ничем не могу им помочь. Все, что оказалось мне по силам, это тайком вставить в спектакль по пьесе Ивана Франко «Украденное счастье», который я делал для МХАТа, запрещенную греко-католическую музыку, выдав ее за Черновицкий народный хор... Диск привезла мне из Канады жена посла в СССР, с которой я тогда дружил. Что за хор звучит в действительности, не знал никто, ни одна душа. Потом с Георгием Бурковым мы сделали запись спектакля для Всесоюзного радио, и музыка еще трижды гремела на всю коммунистическую страну. Трижды! В совьетские времена это было неслыханной дерзостью, узнай кто-то о моей выходке, беды не избежать...

Иногда мне кажется: чем короче память, тем длиннее жизнь. Или даже так: чем больше в памяти хранится эпизодов прошлого, тем ты ближе к смерти. Жить нужно ощущениями, а не воспоминаниями. Может, в этом наше спасение — в умении забывать?

...В каждый приезд во Львов я обязательно иду на кладбище. Это не ритуал, а подтверждение мысли, которая для меня очень важна. Мысли, что есть мир живых и мир ушедших. Между этими мирами лежит мост. Мост нашей любви. На Лычаковском кладбище не только мои родители, но и учителя, друзья, коллеги, даже ученики. Каждый раз, приезжая во Львов, я обнаруживаю новые и новые могилы знакомых. Иногда кажется, что мой город уже переселился на кладбище. Я хожу между могил, кладу цветы на плиты, разговариваю... Потом иду в церковь на улице Русской. В церковь, в которой отпевали родителей. Ставлю свечу, заказываю службу.

...Есть замечательный венгерский поэт Чеслав Милош, цитатой из которого я и закончу: «Сердце бьется тогда, когда надо бы разорваться». Все! ■

В итальянском дворике Львова

Рассказчик (Виктюк) и слушатель (Ванденко)

Виктюки — вуйко Роман, Катруся и Боря — на площади Рынок

«Я всегда ставлю свечку в церкви на улице Русской, где отпевали родителей»

Виктюк и Версаче

На Лычаковском кладбище — у отца и мамы

«Теперь, приезжая во Львов, я живу здесь»